

Александр Скабичевский

Алексей Писемский. Его жизнь и литературная деятельность



Жизнь замечательных людей

Александр Скабичевский

**Алексей Писемский. Его жизнь
и литературная деятельность**

«Public Domain»

Скабичевский А. М.

Алексей Писемский. Его жизнь и литературная деятельность / А. М. Скабичевский — «Public Domain», — (Жизнь замечательных людей)

Эти биографические очерки были изданы около ста лет назад в серии `Жизнь замечательных людей`, осуществленной Ф.Ф.Павленковым (1839–1900). Написанные в новом для того времени жанре поэтической хроники и историко-культурного исследования, эти тексты сохраняют свою ценность и по сей день. Писавшиеся `для простых людей`, для российской провинции, сегодня они могут быть рекомендованы отнюдь не только библиофилам, но самой широкой читательской аудитории: и тем, кто совсем не искушен в истории и психологии великих людей, и тем, для кого эти предметы – профессия.

Содержание

ГЛАВА I	5
ГЛАВА II	17
Конец ознакомительного фрагмента.	21

А. М. Скабичевский

Алексей Писемский. Его жизнь и литературная деятельность

*Биографический очерк А. М. Скабичевского.
С портретом Писемского, гравированным в Петербурге К.
Адтом.*

ГЛАВА I

Происхождение Писемского. – Среда, в которой он провел свое детство и юность. – Детские годы. – Домашнее воспитание. – Костромская гимназия и Московский университет

Алексей Феофилактович Писемский, один из первостепенных русских писателей, принадлежит к плеяде тех беллетристов сороковых годов, которые, ведя свое происхождение от Гоголя, тем не менее пошли по совершенно самостоятельному пути и обогатили русскую литературу рядом могучих произведений, сразу поставивших ее на один уровень со всеми европейскими.

Беллетристы сороковых годов замечательны, кроме того, тем, что, образуя одну школу, они в то же время не только не теряют своей индивидуальности, но, напротив, представляют разнообразные типы, являясь совершенно самостоятельными и оригинальными художественными личностями. То же самое следует сказать и о Писемском.

Эта оригинальность каждого из беллетристов сороковых годов, кроме разных других причин и обстоятельств, наиболее определяется средой, из которой вышел тот или другой из них, так как среда всегда налагает резкую и неизгладимую печать как на характеры, так и на ход жизни исторических личностей. Принимая это во внимание, мы, прежде чем начнем излагать факты жизни Писемского, скажем несколько слов о нравах той среды, из которой он вышел, убежденные, что такая характеристика послужит нам путеводной звездой к определению многих черт Писемского как человека и писателя.

Итак, начнем с того, что Писемский по своему происхождению принадлежит к среде захолустного мелкопоместного дворянства, нравы которого в начале нынешнего (XIX – *Ред.*) столетия резко отличались от нравов всех прочих сословий, не исключая и богатого дворянства.

Богатое дворянство в то время было средоточием образованности и культуры русского общества. Стремление стоять на высоте европейской цивилизации, во всем походить на европейцев доходило в этой среде порою до забвения родного языка. Шикарство, коммодотство и стремление к изысканной утонченности нравов составляли предмет строгого культа.

В то время как увлечение передовыми идеями Запада вело здесь к крайнему идеализму, доходившему до полной потери ощущения действительности, легкая возможность удовлетворить всем прихотям на почве крепостного права обуславливала изнеженность и распущенность нравов, мало уступавшие таким же качествам французской знати эпохи регентства.

Совсем иное видим мы в среде мелкопоместного дворянства. Малая образованность и культурное невежество доходили здесь порою до полной безграмотности, и если, по словам поэта, “бывало, русский генерал служил и грамоты не знал”, то чего же было требовать от

бедных помещиков разных медвежьих углов и степных захолустьев? Домостроевская строгость семейного быта шла здесь рука об руку с еще более неумолимой суровостью по отношению к крепостным, которых у барина было немного и которые поэтому все были наперечет; барин имел возможность входить в жизнь и интересы каждого своего раба, и идеал его как барина заключался в том, чтобы держать всех их в ежовых рукавицах.

Скудость средств развивала здесь энергию борьбы за существование; некогда было идеальничать и заноситься за облака в опасности умереть с голоду, и на сцену являлись трезвая практичность, скопидомство, доходившее порой до черствого кулачества и скарденности. Материальные расчеты преобладали; даже и женились по большей части на основании таблички сложения, так как в сумме 50 душ крестьян да еще 50 составляли 100, и состояние удваивалось.

Но зато, при верности праотческим традициям, здесь более сохранялись своеобразные черты русской жизни. Бедный помещик ближе стоял к крестьянину, чем его богатый сосед. Жизнь была проще, нравы – чище; чаще встречались непосредственные, честные и прямодушные люди, закаленные суровым опытом жизни. А если наблюдался здесь разврат, то и он имел свой особенный характер: французские кокотки заменялись доморощенными Маланьями и Парашами, на которых порою одинокие холостяки или вдовцы женились; шампанскому же предпочитали отечественную сивуху, вследствие чего в мелкопоместной среде при скудости умственных интересов и монотонности жизни бывали часты случаи мрачного запоя.

Чухломской уезд Костромской губернии, родина Писемского, был именно одним из тех трущобных захолустьев, где нравы мелкопоместного дворянства сохранились в двадцатые годы нынешнего столетия во всей своей неприкосновенности.

“Я происхожу, – сообщает Писемский в оставшейся после него автобиографии, – от старинного дворянского рода. Один из предков моих, некто дьяк Писемский, был посылаем царем Иоанном Грозным в качестве посла в Лондон для осмотра племянницы королевы Елизаветы, на каковой племяннице царь предполагал жениться. Другой предок мой из рода Писемских пошел в монастырь и удостоился быть причисленным к лику святых, в сонме которых до сих пор именуется Макарием Писемским, а мощи его почивают в Макарьевском, на реке Унже, монастыре. Вот и вся историческая слава моего рода. Позднейшие Писемские, о которых я слыхал, были по большей части люди богатые; но та ближайшая ветвь, от которой, собственно, я происхожу, была совершенно захудалая: дед мой был безграмотен, ходил в лаптях и сам пахал землю. Богатый родственник его, малороссийский помещик, взялся устроить судьбу отца моего, Феофилакта Гавриловича Писемского, которому тогда было четырнадцать лет, устройство судьбы ребенка состояло в том, что отца моего пообмыли, пообшили, выучили грамоте и определили солдатом в войска, пошедшие завоевывать Крым.

Прослужив лет тридцать в действующей армии, отец мой уже в чине майора нашел возможность побывать на родине, т. е. в Костромской губернии, которая отстояла от Кавказа на две тысячи почти верст; но он, тем не менее, большую часть пути совершил в сопровождении четырех денщиков верхом, находя езду в экипаже совершенно для себя неприятной и очень беспокойной. На родине ему пришлось жениться на моей матери из довольно достаточного семейства Шиповых. Отцу моему в это время было лет сорок пять, а матери – тридцать семь. Плодом этого брака, между прочими детьми, был и я, родившийся в 1820 году 10 марта в усадьбе Раменье. Четверо детей, бывших передо мною, померли, а равно померли и бывшие после меня пять человек. Если дозволительно детям произносить суд над родителями, то я могу таким образом определить моего отца и мою мать. Отец мой в полном смысле был военный служака того времени, строгий исполнитель долга, умеренный в своих привычках до пуризма, человек неподкупной честности в смысле денежном и вместе с тем

суровый и строгий к подчиненным: наши крепостные люди его трепетали, но только дураки и лентяи, а умных и дельных он даже баловал иногда.

Мать моя была совершенно иных свойств: нервная, мечтательная, тонко умная и при всей недостаточности воспитания прекрасно говорившая и весьма любившая общительность. Собою она, за исключением весьма умных глаз, была нехороша, и по поводу ее наружности покойный отец мой, когда я был уже студентом, имел со мною такого рода беседу:

– Скажи мне, Алексей, отчего это мать твоя чем дальше живет, тем красивее становится?

– Оттого, папенька, что у маменьки много душевной красоты, которая с годами все больше и больше выступает.

Отец согласился со мною”.

Вот что сообщает Писемский в автобиографии о своем детстве:

“По рассказам, я рос очень болезненно в раннем детстве и ужасно капризничал: то у меня являлась страсть сосать сафьянные башмаки, то требовал грязной воды, в которой меня мыли, то требовал куска, который отец проглотил; был даже, говорят, лунатик, так что меня лавливали входящим на чердак. Все эти проделки мои не помешали мне, однако, сделаться каким-то божком для отца и матери да сверх того еще для двух теток, барышень Шиповых, не вышедших замуж, которые, непременно предполагая сделать меня своим наследником, пылали ко мне какою-то материнской любовью, так что между соседним дворянством говорили, что у меня не одна мать, а три.

Сначала детство мое, до десяти лет, я провел в маленьком уездном городке (Ветлуге), куда отец мой определен был от комитета о раненых городничим. Воспоминания о житье в этом городке у меня остались какие-то планетные: помню я наш дом, довольно большой, с мезонином, где обитал я; помню пол, очень негладкий, играя на котором, я заназивал себе руки; помню высокую белую церковь, а в ней рыжего протопопа Колосова; помню кадку из-под стрехи, в которой нянька меня купала; а больше всего помню ясные, светлые дни и большую реку, к которой меня нянька никогда близко не подпускала. Затем я уже жил в настоящей деревне, куда переселились мои родители. Особенно резок и шаловлив, по словам всех, я не был, но всегда любил устраивать игры в попы (т. е. представлять, как попы служат), в лошади, пахал грядки, сидел на лабазе, подстерегая медведя. Словом, описание моего детства находится в “Людах сороковых годов”, в главе второй”.

Обращаясь, по указанию Писемского, ко второй главе его вышеназванного романа, мы действительно находим ряд весьма живых сцен из детства героя романа Паши. Описывается, как Паша со своим товарищем, дворовым мальчиком Титкой, и собакой Куцкой бегали за зайцем, как медведь утащил у отца лучшую корову, а егеря Яков Сафонов подстерег и убил медведя, к несказанному удовольствию мальчика, которого едва отец мог удержать от участия в охоте егеря. Подрощи, мальчик выучился верховой езде и до страсти полюбил ее.

“Главное удовольствие при этом, – читаем мы в романе, – доставляли ему опасность и могущество власти над лошадыю. Он один-одинехонек уезжал верст за семь через довольно большой лес; кругом тишина, ни души человеческой, и только что-то поскрипывает и потрескивает по сторонам. Лошадь идет, наострив уши, вздрагивая и как бы прислушиваясь к чему-то. Но вот огромная глинистая гора; Павел слегка только сдерживает поводья. Лошадь осторожнейшим образом сходит с горы, немного приседая назад и скользя копы-

тами по глине; Павел убежден, что это он ее так выездил. За горой надобно проехать через довольно крутой мост; на середине его большая дыра. Павел нарочно погоняет лошадь и направляет ее на эту дыру; но она ее перескакивает. Следующую речку Павел решился переехать вброд. Речонка тоже пенится и шумит; лошадь немножко заартачилась; Павел смело нукает ее; лошадь осторожно входит в воду. На середине реки ей захотелось напиться, и для этого она вдруг опустила голову; но Павел дернул поводьями и даже выругался: “Ну, чорт, запалишься!” В такого рода приключениях он доезжает до села, объезжает там кругом церковной ограды, кланяется с сидящею у окна матушкой-попадьей и, видимо гарцуя перед нею, проскакивает село и возвращается домой”.

Выпросивши у отца ружье, мальчик почти каждый день начал в сопровождении Титки и Куцки ходить на охоту:

“Охотником искусным он не сделался; но зато привык рано вставать и смело ходить по лесам. Каких он не видал высоких деревьев, каких перед ним не открывалось разнообразных и красивых лощин! Утомившись, он очень любил лечь где-нибудь на траве вверх лицом и смотреть на небо. И вдруг ему начинало представляться, что оно у него как бы внизу, самые деревья как будто бы растут вниз и вершины их словно купаются в воздухе, — а он лежит на земле потому только, что к ней чем-то прикреплен; но уничтожись эта связь, и он упадет туда, вниз, в небо. Павлу делалось при этом и страшно, и весело...”

Таким образом, детство Писемский провел среди бодрящих и закаляющих телесно и душевно впечатлений деревенской жизни. Он получил в эти годы то скудное образование на медные деньги, какое в то время было свойственно среде мелкопоместного дворянства. Вот что говорит он в романе “Люди сороковых годов” о воспитании героя Паши:

“По случаю безвыездной деревенской жизни отца, наставниками его пока были: приходский дьякон, который версты за три бегал каждый день поучать его часа два; потом был взят к нему расстрига-поп, но оказался уж очень сильным пьяницей; наконец учил его старичок, переезжавший несколько десятков лет от одного помещика к другому и переучивший по крайней мере поколения четыре. Как ни плохи были такого рода наставники, но все-таки учили его делу: читать, писать, арифметике, грамматике, латинскому языку. У него никогда не было никакой гувернантки, изобретающей приличные для его возраста *causeries*¹ с ним; ему никогда и никто не читал детских книжек, а он прямо схватился за кой-какие романы и путешествия, которые нашел на полке у отца в кабинете; словом, ничто как бы не лелеяло и не поддерживало в нем детского возраста, а скорей игра и учение все задавали ему задачи больше его лет”.

Почти то же говорит он о своем воспитании в доме отца и в своей биографии.

“Учиться меня особенно не нудили, да я и сам не очень любил учиться; но зато читать и читать, особенно романы, любил до страсти: до четырнадцатилетнего возраста я уже прочел, в переводе разумеется, большую часть романов Вальтер Скотта, “Дон Кихота”, “Фоблаза”, “Жильблаза”, “Хромого Беса”, “Серапионовых братьев” Гофмана, персидский роман “Хаджи-Баба”; детских же книг я всегда терпеть не мог и, сколько припоминаю теперь, всегда их находил очень глупыми.

¹ Непринужденные разговоры.

Наставники у меня были очень плохи и все русские. В детстве я, кроме латинского языка, никакому новому языку не учился, что мне впоследствии приносило и даже до сих пор приносит большой вред. Тщетно я в гимназии и в университете старался познакомиться с французским и немецким языками, которым, впрочем, в некоторой степени и выучивался, но только не надолго: не проходило и полугода, как я забывал язык. Вообще, кажется, у меня очень слаба способность к языкам, к истории и к естественным наукам; тогда как к наукам философским, т. е. к математике, к метафизике, к логике, эстетике, этике, я весьма склонен”.

“В 1834 году, т. е. когда мне было четырнадцать лет, меня отдали в Костромскую гимназию, во второй класс. Учиться там я начал понятливо и довольно прилежно, но гораздо большую стяжал себе славу на актерском поприще”.

Обращаясь затем к роману “Люди сороковых годов”, в котором автор описал все свое детство, мы видим, что отец Писемского сам свез сына в Кострому, где и поместил его на частную квартиру в большом каменном запущенном помещичьем доме, в довольно глухом переулке. На пожелтелой крыше его во многих местах росла трава; штукатурка и разные украшения наружных стен обвалились. В верхнем этаже некоторые окна были с выбитыми стеклами, а в других стекла были заплесневелые, с радужным отливом; в нижнем этаже их закрывали тяжелые ставни. К главному подъезду вели железные ворота, на которых виднелся расколовшийся пополам герб фамилии владельцев. Его держали два льва, один – без головы, а другой – без всей задней части. Вместе с мальчиком в качестве тьютора и репетитора был помещен старший его летами гимназист Стайновский, а прислуживать им оставили дворового парня лет четырнадцати.

Расставание отца с сыном было самое трогательное. Мальчик бросился к отцу на шею, зарыдал на всю комнату и произнес со стоном: “Папенька, друг мой, не покидай меня навеки!” Старик застонал, зарыдал тоже. “Нет, не покину, не покину!..” – бормотал он; потом, едва вырвавшись из объятий сына, сел в экипаж: у него голова даже не держалась хорошенько на плечах, а как будто болталась. “Папаша, папаша, милый!” – стонал мальчик. Старик махнул рукой и велел себя везти скорее; экипаж уехал. Мальчик, как бы все уже похоронив на свете, с понуренной головой и весь в слезах отправился в комнаты... По крайней мере с месяц после разлуки с отцом он тосковал о нем.

Но вот начались уроки, и потекла день за днем монотонная гимназическая жизнь, однообразие которой нарушилось приездом в город бродячей труппы.

Актеры были крайне плохие. Устроенный в помещении кожевенного завода театр находился где-то под землей, и сохранялся еще запах дубильных веществ, которым пропитаны были его стены. Зрителям, чтобы попасть в партер, надобно было спуститься вниз по крайней мере сажени на две. Тем не менее, когда Стайновский предложил своему воспитаннику отправиться вместе в театр на представление “Днепровской русалки”, мальчик был на седьмом небе. Его по преимуществу волновали названия: “сцена”, “ложи”, “партер”, “занавес”, но что, собственно, это значило и как все это соединить и расположить, он никак не мог придумать в своем воображении. Заиграла музыка.

Писемский в жизни своей, кроме одной скрипки и плохих фортепьяно, не слышал никаких инструментов; но теперь, при звуках довольно большого оркестра, у него как бы вся кровь прилила к сердцу; ему хотелось в одно и то же время подпрыгивать и плакать. Занавес поднялся. С какой жадностью взор нашего юноши ушел в таинственную глубь какой-то очень красивой рощи, позади которой виднелся занавес с Бог знает куда уводящей далью; а перед ним что-то серое шевелилось на полу – это была река Днепр!

И как ни плохи были лицедеи, как ни убога была вся обстановка провинциального театра, юноша был как бы в тумане: весь этот театр со всей обстановкой и все испытанные там удовольствия показались ему какими-то необыкновенными, не воздушными, не на земле (а – как было на самом деле – под землею) существующими – каким-то пиром гномов, одуряющим, не дающим свободно дышать, но тем не менее очаровательным и обольстительным. Результатом того сильного впечатления, которое произвело на юношей это зрелище, было то, что на святках они задумали устроить у себя дома свой театр. Инициатива принадлежала Стайновскому как старшему возрастом. Он хорошо умел рисовать, и это помогло ему сделать декорации и занавес. Сцену и зрительный зал решили устроить в большой зале, бывшей в опустевшем доме, где они обитали; употребили в дело и найденную там старинную мебель. Не меньшую изобретательность проявил Стайновский и в изготовлении костюмов из немногих имевшихся в наличии материалов: гимназических вещей, мундирчиков, конских волос, бычачьих пузырей и т. п. Для представления были избраны “Казак-стихотворец” и “Воздушные замки”. Роль Маруси уговорили играть очень хорошенького гимназистика, который был в гимназических певчих и имел превосходный тоненький голосок. Один из актеров, подвизавшийся на городском театре, был приглашен выучить юношей петь надлежащие куплеты. Писемский взял себе роль Прудюса в “Казаке-стихотворце”. В назначенный день собралось столько публики, сколько мог вместить импровизированный театр; публика состояла из гимназических учителей и гимназистов с их родственниками. Спектакль прошел блистательно, причем Писемский заткнул за пояс своего товарища-тутора Стайновского, отличившись правдивостью и тактом в исполнении своей роли.

Этот успех Писемского имел такие последствия: во-первых, самолюбие Стайновского было так уязвлено неудачей на театре, что он был почти не в состоянии видеть Писемского и уехал от него, оставив мальчика одного с его дворовым парнем; и, во-вторых, Писемский начал воображать себя будущим великим актером и, оставшись жить один, нередко перед своим казачком и сторожем дома, старым инвалидом, декламировал, надев халат и подпоясавшись кушаком, из “Дмитрия Донского”:

Российские князья, бояре, воеводы,
Прешедшие чрез Дон отыскивать свободы.

Или восклицал, цитируя Корнеля в переводе Катенина и обращаясь к инвалиду: “Иди ко мне, столб царства моего!”

Вообще детские игры он совершенно покинул и повел “эстетический образ жизни” в подражание своему дяде со стороны матери, Всеволоду Никитичу Бартеневу. Этот Бартенев, изображенный Писемским в романе “Люди сороковых годов” в лице Эспера Ивановича, бывший флотский офицер, представлял собою весьма оригинальный тип своего времени; это был байбак, Обломов, не сходивший со своего дивана, и в то же время просвещенный любитель и знаток литературы и всех искусств, энциклопедически образованный и горячий проповедник просвещения. Он оказывал большое влияние на племянника во время гимназических лет Писемского, снабжая его романами, журналами, путешествиями. Юноша с каждым годом все более и более погружался в чтение; часто ходил в театр; наконец задумал учиться музыке. В доме, где он продолжал обитать, оказалось фортепьяно; он перенес его в свою комнату, поправил и настроил на свои скудные средства. В учителя он себе выбрал, по случаю крайней дешевизны, того самого актера, который дирижировал пением в гимназическом спектакле. Он, впрочем, мог растолковать Писемскому одни ноты; а затем Писемский уже сам стал разучивать, как Бог на разум послал, небольшие пьески и к концу года играл довольно бойко, так что нашелся даже обожатель его музыки, один из товарищей, который

прослушивал его иногда по целым вечерам и совершенно искренно уверял, что такой игры на фортепиано, с подобной экспрессией, он не слышивал.

Обильное чтение не замедлило оказать свое влияние на восприимчивую натуру юноши, пробудив в нем творческие силы. В этом отношении мы встречаем в романе «Люди сороковых годов» характерный эпизод, который, подобно многим другим фактам детства и юности героя романа, в свою очередь мог быть взят всецело из жизни самого автора. Так, Писемский рассказывает, как герой его, Павел Вихров, сблизился с учителем математики, хохлом; вместе они ходили на охоту, и учитель этот свободомысленными речами возбудил в юноше критическое отношение к гимназическому начальству. «Все эти толкования, – читаем мы в романе, – сильно запали в молодую душу моего героя, и одно только врожденное чувство приличия останавливало его, что он не делал с начальством сцен и ограничивался в отношении его глухой и затаенной ненавистью». Но недолго продолжалась эта сдержанность. Инспектор гимназии, и он же учитель словесности, являлся креатурой директора, так как последний возвел его в инспекторский сан вследствие того, что тот сошелся с его дочерью и должен был жениться на ней.

«Перед экзаменами, – читаем мы в романе, – инспектор-учитель задал им сочинение на тему «Великий человек». По словесности Вихров тоже был первый, потому что прекрасно знал риторику и логику и кроме того сочинял прекрасно. Счастливая мысль мелькнула в его голове; давно уже желая высказать то, что наболело у него на сердце, он подошел к учителю и спросил его: можно ли, вместо заданной им темы, написать на тему «Случайный человек». «Напишите!» – отвечал тот, вовсе не поняв его намерения. Павел пришел и в одну ночь накал сочинение. О, каким огнем негодования горел он при этом! Он писал: «Народы образованные более всего ценят в гражданах своих достоинства. Все великие люди Греции были велики и по душевным своим свойствам, у народов же необразованных гораздо более успевают лезть и низость; вот откуда происходит *случайный человек*! Он может не иметь никаких личных достоинств и на высшую степень общественных почестей возводится только слепым случаем! Торговец блинами становится корыстолюбивым государственным мужем, лакей – графом, певчий – знатной особой».

Сочинение это произвело, как и надо ожидать, страшное действие... Инспектор-учитель показал его директору; тот – жене; жена велела выгнать Павла из гимназии. Директор, очень добрый, в сущности, человек, поручил это исполнить зятю. Тот, собрав совет учителей и бледный, с дрожащими руками, прочел ареопагу злокачественное сочинение; учителя, которые были помоложе, потупили головы, а отец Никита произнес, хохоча, себе под нос:

– Сатирик! Как же, ведь все они у нас сатирики!

– Я полагаю, господа, выгнать его надо? – обратился инспектор-учитель к совету.

– Это очень уж жестоко, – послышалось легкое бормотанье между учителями помоложе.

Зачем же ему учиться, ведь уж он сочинитель!.. – подхватил, опять смеясь, отец Никита».

Насилу сумел отстоять своего друга все тот же учитель математики, который был виновником подобного настроения юноши.

Очень вероятно, что нечто подобное случилось в гимназии и с самим Писемским. В автобиографии же своей он о начале развития своего писательского дарования говорит кратко: «В пятом классе я был признан учителем словесности прекрасным талантом, в шестом классе я уже написал повесть, назвав ее «Черкешенкой», а в седьмом сочинил еще большую повесть «Чугунное кольцо», которые, вероятно, отличались более стилем, так как я в них описывал такие сферы, которые совершенно были для меня неведомы».

В романе “Люди сороковых годов” писание последней повести находится в связи с первой романтической любовью героя к кузине Мери, конечно, значительно старше его по возрасту и относившейся к нему как к мальчику.

“Вскоре после того, – читаем мы, – Павел сделался болен, и ему не велено выходить из дому. Скука им овладела до неистовства – и главное оттого, что он не мог видаться с Мери. Оставаясь почти целые дни один-одинешенек, он передумал и перемечтал обо всем; наконец, чтобы чем-нибудь себя занять, вздумал сочинять повесть и для этого сшил себе толстую тетрадь и прямо на ней написал заглавие своему произведению: “Чугунное кольцо”. Героем своей повести он вывел казака, по фамилии *Ятвас*. В фамилии этой Павел хотел намекнуть на молодцеватую наружность казака, которою он как бы говорил: “*Я вас!*”, и, чтобы замаскировать это, вставил букву *т*. Ятвас этот влюбился в губернском городе в одну даму и ее влюбил в самого себя. В конце повести у них произошло рандеву в беседке на губернском бульваре. Дама призналась Ятвасу в любви и хотела подарить ему на память чугунное кольцо; но по этому кольцу Ятвас узнает, что это была родная сестра его, с которой он расстался еще в детстве; обоюдный ужас – и после этого казак уезжает на Кавказ, и там его убивают, а дама постригается в монахини”.

Не ограничиваясь чтением этой повести своей кузине, Писемский посылал ее в редакции столичной прессы, но повесть принята не была.

В 1840 году Писемский кончил гимназический курс и вознамерился ехать в Московский университет, выдержавши при этом, если судить по роману “Люди сороковых годов”, немалую борьбу с отцом, который требовал, чтобы сын поступил в Демидовский лицей на том основании, что там он учился бы и содержался на казенный счет, в закрытом пансионе, под присмотром начальства и был бы несравненно ближе к родительской усадьбе, так что за ним ничего не стоило бы на каникулах прислать лошадей. Но сын настоял на своем и поступил-таки в Московский университет на математический факультет.

В своей автобиографии Писемский называет выбор факультета как нельзя более удачным, хотя и не находит, чтобы университетское образование дало ему очень много. “Будучи, – говорит он, – большим фразером, я в этом случае благодарю Бога, что избрал математический факультет, который сразу же отрезвил меня и стал приучать говорить только то, что сам ясно понимал. Но этим, кажется, только и кончилось благотворное влияние университета. Научных сведений из моего собственного факультета я приобрел немного”.

Правда, нельзя сказать, чтобы и вообще математические факультеты благотворно влияли на людей, одаренных художественным талантом. Тем более трудно ожидать, что такое благотворное влияние мог оказать математический факультет одного из русских университетов сороковых годов. Но все-таки было бы ошибочно утверждать, что университетские годы прошли для Писемского совсем бесплодно. Недаром Писемский в романе “Люди сороковых годов” говорит о своем герое: “Естественные науки открыли перед ним целый мир новых сведений: он *уразумел и трав прозябанье*, и с ним *заговорила морская волна*. Он узнал жизнь земного шара – каким образом он образовался, как на нем произошли реки, озера, моря; узнал, чем люди дышат, почему они на севере питаются рыбой, а на юге – рисом. Словом, вся эта природа, интересовавшая его прежде только каким-нибудь очень уж красивым местоположением, очень хорошей или чрезвычайно дурной погодой, каким-нибудь никогда не виданным животным, – стала теперь понятна ему в своих причинах, явилась машиной, в которой было все теснейшим образом связано одно с другим. Из изящных собственно предметов он в это время изучал Шекспира и еще Шиллера, за которого он принялся, чтобы выучиться немецкому языку, столь необходимому для естественных наук, и который сразу увлек его как поэт человечности, цивилизации и всех юношеских порывов”.

О том же свидетельствует Писемский и в своей автобиографии, говоря, что хотя учеба на факультете дала ему не много научных сведений, но зато он познакомился с Шекспиром,

Шиллером, Гёте, Корнелем, Расином, Жан-Жаком Руссо, Вольтером, Виктором Гюго, Жорж Санд и сознательно оценил русскую литературу.

Надо принять в соображение также и то обстоятельство, что Писемский, подобно многим своим товарищам, не ограничивался одной математикой, а слушал лекции профессоров других факультетов. Так, в романе “Люди сороковых годов” он сообщает эпизод, очевидно, вполне автобиографический:

“Профессор словесности, – читаем мы в романе, – задал студентам темы для сочинений. Вихров ужасно этому обрадовался и выбрал одну из них, а именно *“Поссевин в России”*, и сейчас же принялся писать на нее. Еще и прежде того, как мы знаем, искусившись в писании повестей и прочитав потом целые сотни исторических романов, он изобразил пребывание Поссевина в России в форме рассказа: описал тут и царя Иоанна, и иезуитов с их одеждою, обычаями, и придумал даже полячку, привезенную ими с собой. Целые две недели Вихров занимался этим трудом и наконец подал его профессору, вовсе не ожидая от того никаких особых последствий, а так только потешил в этом случае натуру свою. Невдолге после того профессор стал давать отчет о прочитанных им сочинениях. Он их обыкновенно увозил из университета на ломовом извозчике – и на ломовом же извозчике и привозил. Взойдя на кафедру, он был как бы некоторое время в недоумении.

– Милостивые государи, – начал он своим звучным голосом, – я, к удивлению своему, должен отдать на нынешний раз предпочтение сочинению не студента словесного факультета, а математики... Я говорю про сочинение г-на Вихрова *“Поссевин в России”*.

У Павла руки и ноги задрожали и в глазах помутилось.

– Г-н Вихров! – вызвал уже его профессор.

Павел встал. Профессор, как бы с большим вниманием, несколько времени смотрел на него.

– В вашем сочинении, не говоря уже о знании фактов, видна необыкновенная ловкость в приемах рассказа; вы как будто очень опытни и давно упражнялись в этом.

– Я давно уж пишу! – отвечал Вихров с дрожащими губами.

– Упражняйтесь в этом!.. Прекрасно, прекрасно!.. У вас положительное дарование!

И профессор мотнул Вихрову головой в знак того, чтобы тот сел.

Павел опустил – от волнения он едва стоял на ногах; но потом, когда лекция кончилась и профессор стал сходить по лестнице, Павел нагнал его:

– У меня целая повесть написана, – сказал он, – позвольте вам представить ее!

– Представьте, – сказал профессор, уже с удивлением взглянув на него.

Вихров на следующую же лекцию принес ему свою повесть “Чугунное кольцо”. Профессор взял у него тетрадку. Целую неделю Вихров горел, как на углях. Профессора он видел в университете; но тот ни слова не говорил с ним о его произведении. Наконец после одной лекции он проговорил:

– Г-н Вихров здесь?

– Здесь! – отвечал Павел, опять с дрожащими губами.

– Прошу вас сегодня зайти ко мне вечером: я имею с вами поговорить.

Вихров рад был двадцать-тридцать раз к нему сходить. “Что-то он скажет мне и в каких выражениях станет хвалить меня?” – думал он все остальное время до вечера: в похвале от профессора он почти уже не сомневался. Часу в седьмом вечера он почти бегом бежал со своей квартиры к дому профессора и робкою рукою позвонил в колокольчик. Человек отпер ему и впустил его; Павел сказал ему свою фамилию. Человек повел его сначала через залу, гостиную. Вихров с искреннейшим благоговением вдыхал в себя этот ученый воздух; в кабинете, слабо освещенном свечами с абажуром, он увидел самого профессора; все стены кабинета уставлены были книгами, стол завален кучами бумаг.

– Здравствуйте, садитесь! – сказал он ему ласково. Вихров сел.

– Я позвал вас, – продолжал профессор, – сказать вам, чтобы вы бросили это дело, за которое очень рано взялись!

И он сделал при этом значительную мину. Вихров покраснел.

– Почему же? – спросил он.

– Потому что вы описываете жизнь, которой еще не знаете; вы можете написать теперь сочинение из книг, наконец, описать ваши собственные ощущения – но никак не роман или повесть! На меня, признаюсь, ваше произведение сделало очень, очень неприятное впечатление; в нем выразилась или весьма дурно направленная фантазия, если вы все выдумали, что писали... А если же нет, то это, с другой стороны, дурно рекомендует вашу нравственность!

И профессор опять при этом значительно мотнул Вихрову головой и подал ему его повесть назад. Павел только из приличия просидел у него еще с полчаса, и профессор все ему толковал о тех образцах, которые он должен читать, если желает сделаться литератором, о строгой и умеренной жизни, которую он должен вести, чтобы быть истинным жрецом искусства, и заключил тем, что “орудие, то есть талант, у вас есть для авторства, но содержания еще никакого!” Герой мой вышел от профессора сильно опешенный. “В самом деле мне, может быть, рано еще писать!” – подумал он сам с собой и решился пока учиться и учиться!..”

В это время студенты увлекались Белинским; под влиянием же любимого критика вели ожесточенные и бесконечные философские споры и зачитывались Гоголем. Из того же автобиографического романа мы видим, что все это проделывал и Вихров, а значит – так или иначе – и Писемский. Об увлечении же Писемского Гоголем мы можем судить по воспоминаниям Алмазова, вот что сообщившего, между прочим, в своей речи на юбилее Писемского:

“Какие же влияния способствовали развитию такого в высшей степени самородного таланта, как талант Писемского? Литературными образцами для нашего юбиляра были творения двух наших великих писателей-художников, Пушкина и Гоголя; на эстетические его теории имели большое влияние критические статьи Белинского, и вообще умственное его развитие совершалось под воздействием профессоров Московского университета начала сороковых годов. Что касается до влияния, происходящего от личного сношения с людьми, то мы знаем только одного литератора, который имел некоторое влияние на Писемского, – и этот литератор, как ни покажется это странным на первый раз, был никто другой, как Павел Александрович Катенин. Как, подумают многие, тот Катенин, который, по словам Пушкина, “*воскресил Корнеля гений величавый*”? Катенин, крайний сторонник и самый отчаянный поклонник французского псевдоклассицизма, переводчик Корнеля, имел влияние на такого писателя-реалиста, как Писемский? Как это ни странно, а это правда. Познакомился Писемский с Катениным случайно: Катенин жил в трех верстах от родового имения Писемских (в Костромской губернии), где родился, получил первоначальное воспитание и проводил потом время гимназических и университетских вакансий будущий автор романа “*Тысяча душ*”, трагедии “*Горькая судьбина*” и комедий “*Ваал*”, “*Ипохондрик*”, “*Подкопы*”. Ветеран литературы, Катенин, фанатически верный своим идолам, Корнелю и Расину, и корану псевдоклассической поэзии, “*L’art Poétique*” Буало, подружился с молодым студентом, жарким поклонником Гоголя и статей Белинского, – Белинского, у которого, по духу тогдашних эстетических теорий, имена Корнеля и Расина чуть-чуть не были бранными словами. Как же проводили время, сходясь между собою, эти два совершенно противоположные по литературным убеждениям человека?

Катенин декламировал перед Писемским произведения французских лжеклассиков; Писемский читал Катенину произведения Гоголя. Разумеется, после чтения у них были горячие споры. «Ваш Гоголь – дрянь, гадость!» – кричал в каком-то ожесточении Катенин. Писемский, возражая Катенину, обзывал, вероятно, тоже не совсем лестными эпитетами Корнеля и Расина. Но когда умолкал спор, Писемский слушал какую-нибудь трагедию какого-нибудь французского классика, а немного погодя Катенин слушал повесть или комедию Гоголя.

В чем же отразилось влияние Катенина на Писемского? Во-первых, в некоторых сценических приемах нашего юбиляра, ибо я никак не могу пройти молчанием сценический талант Писемского. Вам, милостивые государи, которые не раз наслаждались в этой самой зале его необыкновенно искусным чтением, вам, вероятно, будет приятно вспомнить об одном из сценических успехов Писемского, и потому вы мне позволите сделать отступление в моей речи. Поэзия и сцена – не дальняя родня между собою, и, говоря о литературных достоинствах писателя, позволительно сказать и о его достоинствах как актера”.

“В 1844 году наше тогда еще молодое поколение прослышало, что в Долгоруковском переулке, в меблированных комнатах – в тех самых, которые потом описаны с таким юмором в одном из романов нашего автора, – живет какой-то студент Московского университета, второго отделения философского факультета, который читает своим приятелям Гоголя, и читает так, как никто еще до того времени не читывал. Наше поколение горячо и восторженно принимало к сердцу все интересы искусства и потому сильно взволновалось, услышав эту новость, и рвалось послушать, как Писемский читает Гоголя. Но нам, школьникам, было слишком недоступно общество студентов, а студенты *философского* факультета одним своим наименованием наводили на нас священный страх... Вдруг доходит до нас слух, что на одном так называемом благородном театре будет даваться “*Женитьба*” Гоголя и что в ней роль Подколесина будет играть Писемский. С трудом мы пробрались на этот спектакль. Конечно, не мы были судьями над Писемским, но мы были свидетелями того изумления, с каким избранное московское общество смотрело на игру Писемского. В то время Подколесина играл на Императорском театре великий наш комик Щепкин; но кто ни взглянул на Писемского, всякий сказал, что он лучше истолковал этот характер, чем сам Щепкин. Не стану распространяться о сценических дарованиях Писемского: большая часть из наших посетителей, слышавшая его чтение, уже может вообразить, каков он должен быть на сцене. Скажу только, что Писемский обязан Катенину тем удивительным умением владеть собою, тою удивительно отчетливою и сдержанною интонацией голоса, которою мы любуемся в те минуты, когда он читает нам трагические места из своих произведений...”

О высоком мастерстве в декламаторском искусстве свидетельствуют и другие современники Писемского. Так, И.Ф. Горбунов в своих воспоминаниях о Писемском, сообщая между прочим о чтении им своей “*Плотничьей артели*” на вечере у Краевского, говорит, что “это было не чтение, а высокая сценичная игра; каждое лицо выглядело, как живое, со своим тоном, со своим жестом, со своей индивидуальностью. Художественное наслаждение было полное, все были в неопisanном восторге”. Слава о превосходном чтении Писемского

не замедлила распространиться по Петербургу, и Писемского наперерыв приглашали читать в Петербурге, в Кронштадте и других окрестностях. “Очень часто, – говорит Горбунов, – по вечерам, а иногда и днем мы отправлялись с ним куда-нибудь на чтение. Мы сделались известными чтецами и вошли в моду; нас приглашали в самое высшее общество. “Мы с тобой точно дьячки, – сказал он один раз, – нам бы попросить митрополита, чтобы он разрешил стихарь надеть”.

Об этом же свидетельствует в своих воспоминаниях о Писемском П.В. Анненков:

“Он действительно передавал мастерски собственные сочинения, находя чрезвычайно выразительные интонации для всякого лица, выводимого им на сцену (в драматических его пьесах это выходило особенно эффектно). Так же мастерски рассказывал он множество уморительных анекдотов из его встреч с разными лицами своей молодости. Подобных анекдотов были у него целые короба, и в каждом из них выражался более или менее законченный комический тип. Многие из таких типов были им обработаны позднее и попали в его сочинения”.

Но Анненков расходится с Алмазовым относительно актерского таланта Писемского. По его словам, репутация великого актера, которая была составлена Писемскому в Москве и которой он очень гордился, не выдержала окончательной пробы:

“Так, при исполнении им роли городничего в “Ревизоре” Гоголя, данном на публичном спектакле в пользу литературного фонда, который был тогда в большой моде (1860), он оказался слабым и монотонным, изображая эту живую фигуру. Дело в том, что Писемский всегда счастливо находил одну верную ноту в предоставленной ему роли и по ней создавал все лицо исключительно, пренебрегая всеми другими оттенками его. Однажды я был свидетелем, как Писемский, в присутствии покойного Мартынова, вздумал оправдывать эту грубую, упрощенную манеру понимания изображенных лиц и утверждал между прочим, что гениальный создатель “Ревизора”, кажется, писал свою комедию не для сцены, потому что в городничем его беспрестанно встречаются вводные мысли и отступления, сбивающие с толку актера и мешающие ему проводить роль в надлежащем единстве. Великий наш комик, который был также и очень сильным теоретиком своего искусства, горячо возражал на эту мысль, объясняя пространно и чрезвычайно ясно, что все эти *a parte*,² побочные мысли и подробности совершенно необходимы автору и представляют благодарную задачу для истинного актера, помогая ему высказать в полном блеске свое дарование и слиянием всех этих отдельных черт в один полный образ создать характер, способный остаться надолго в преданиях театрального мира. Писемский, кажется, остался при своем мнении”.

² Реплики в сторону, про себя (*um.*).

ГЛАВА II

Окончание университетского курса и влияние, оказанное на Писемского университетом. – Служебная деятельность и ее влияние на талант Писемского. – Сходство и различие в развитии талантов Писемского и Салтыкова. – Роман “Боярица”. – Повесть “Нина”. – Женитьба Писемского и его семейная жизнь

Успех в роли Подколесина совпал в жизни Писемского с окончанием университетского курса, последовавшим в том же 1844 году. Писемский был выпущен со степенью действительного студента. Хотя он и сам свидетельствует, что университет дал ему не много, но мы все-таки утверждаем, что годы учебы не могли пройти в жизни Писемского совершенно бесследно. Странно было бы и требовать, чтобы университет внедрял в голову каждого студента целиком все те науки, которые изучаются на избранном им факультете. Дело университета заключается лишь в том, чтобы возбудить в юноше живой интерес к приобретению знаний и занятию науками, дать ему ключ к этим занятиям. Если затем юноша остается в центре просвещения, близко к очагам наук и искусств, и если огонь, зажженный в нем университетом, успел сильно разгореться в его душе, он будет самостоятельно поддерживать этот огонь, продолжая учиться, усваивать любимую науку и в конце концов развивать ее. Но смешно и требовать, чтобы огонь продолжал сам собою гореть без перерыва и в случае, если юноша по окончании курса уедет в далекую глушь и там предастся какому-нибудь практическому делу, не имеющему ничего общего с усвоенными в университете знаниями. Естественно, что не поддерживаемый новыми материалами огонь начнет со временем гаснуть, приобретенные знания, не прилагаемые к жизни, будут мало-помалу испаряться. От всего университетского курса останется лишь общая закваска человека с высшим образованием, те идеи честности, гуманности и прогресса, какие каждый мало-мальски талантливый и неиспорченный юноша выносит из университета. Но, конечно, среда и жизнь могут так переработать человека, что и от этих идей не останется впоследствии и следочка. Прилагая эти соображения к Писемскому, мы не считаем большой бедой, что он не вынес из университета целиком всю премудрость математического факультета, курс которого окончил. Для чего пригодилась бы вся эта премудрость, если бы даже он вместили ее в себя в таком количестве, как Лобачевский? Совершенно достаточно, что рядом с положительными, хотя бы и самыми элементарными, знаниями Писемский вынес из университета кое-какую начитанность, познания в литературах западной и русской, а главным образом, увлечение Белинским, Гоголем и Жорж Санд, что ставило его во всяком случае впереди своего века. Если бы с этим умственным багажом он остался в Москве, примкнул к каким-нибудь литературным или философским кружкам, продолжал бы читать, учиться, развиваться; если бы – еще лучше – поехал за границу, подобно Тургеневу или Грановскому, доучиваться в западных университетах, то, конечно, он и до конца дней своих продолжал бы оставаться в первых рядах своих современников не только по своему художественному таланту, но и как мыслитель. К сожалению, крайний недостаток средств заставил Писемского по окончании университетского курса спешить на родину, на долгие годы заточить себя в провинциальной глуши и тянуть служебную лямку ради прокормления себя и семьи. Нет ничего мудреного, что университетские образование и закваска с каждым годом все больше испарялись под влиянием той невежественной и полудикой провинциальной среды, в которую попал юноша, и когда, в пятидесятых годах, Писемский явился в Петербург, он, как мы увидим, поразил петербуржцев своей провинциальной оригинальностью и, по словам Анненкова, “произвел на всех впечатление какой-то *диговинки* посреди Петербурга, причем все суждения принадлежали ему, природе его практического ума и не обнаруживали никакого родства с учениями и верованиями, наиболее распространенными между тогдашними образованными людьми”.

Вот что говорит сам Писемский в своей автобиографии о первых годах своей жизни по окончании университетского курса:

“На моем успехе в 1844 г. в роли Подколесина кончилась моя научная и эстетическая жизнь. Впереди мне предстояли горе и необходимость служить: отец мой уже умер, мать, пораженная его смертью, была разбита параличом и лишилась языка; средства к существованию были весьма небольшие. Все это понимая, я впал, по переезде моем в деревню, в меланхолию и ипохондрию, из какой спасла меня любовь. Еще ранее того, во время моего гимназического и университетского воспитания, я влюблялся идеально в моих кузин, из которых первая описана в лице Софи во “Взбаламученном море”, а вторая – в лице Марии в “Людах сороковых годов”; но вышесказанная любовь была уже реальная и поглотила всего меня. Любовь эта мною выражена, во-первых, в романе моем “Боярщина”, в отношениях Эльчанинова к Анне Павловне, и потом второй раз в “Людах сороковых годов”, в отношениях Вихрова к Фатеевой. Но жизнь и родные не удовлетворялись этим моим блаженством, как не удовлетворялась им и моя собственная совесть, тем более что написанный мною тогда роман “Боярщина” как протест против брака был прямо прихлопнут цензурой; значит, надежда на авторство могла тогда показаться сумасшествием, и потому я решился, во-первых, посвятить себя службе, а потом жениться, избрав для этого девушку совершенно уже не кокетку, из семьи хорошей, но небогатой. Свадьба наша совершилась 11 октября 1848 года. Жена моя отчасти обрисована мною во “Взбаламученном море” в лице Евпраксии, которой сверх того придано в романе название Ледешка”.

В пояснение этого лаконического конспекта нескольких лет жизни Писемского считаем долгом прежде всего познакомить читателей наших со служебной деятельностью Писемского. Первоначально, тотчас же по окончании университетского курса, Писемский поступил в костромскую палату государственных имуществ, а затем перешел в подобную же палату московскую. В 1846 году он вышел в отставку и два года прожил в провинции, увлекаясь в это время тою жорж-сандовскою свободою любовью, о которой он говорит в своей автобиографии. В 1848 году, после женитьбы и по настоянию родных, он вновь поступает на службу, на этот раз чиновником по особым поручениям к костромскому губернатору, которым являлся в то время известный впоследствии петербургский генерал-губернатор князь Суворов. В 1849 году Писемский был назначен ассессором костромского губернского правления и прослужил в этой должности до 1853 года. Вышедши в этом году в отставку и переселившись в Петербург, в 1854 году он был определен в министерство уделов, при котором состоял до 1859 года. С этого года и до 1866-го Писемский нигде не служил, предаваясь исключительно одной литературной деятельности. В 1866 году он опять сделался советником московского губернского правления. Здесь он дослужился до старшего советника и в 1872 году окончательно вышел в отставку в чине надворного советника. Вот что, между прочим, говорит в своей речи на юбилее Писемского Алмазов по поводу его служебной деятельности:

“Говоря о влияниях, которые отразились на нашем юбиляре, я должен упомянуть об одном обстоятельстве, которое сильно подействовало на развитие его таланта. Большая часть наших писателей, изображающих чиновничий быт и служебную сферу, знают то и другое только с виду или даже просто по слуху. Они или служили в каких-нибудь канцеляриях и знают службу только по канцелярским формам, или просто только числились по службе и даже мало знакомы с физиономиями своих начальников и еще меньше с физиономиями своих товарищей и подчиненных. Но Писемский отнесся совсем иначе к службе, чем эти господа: он, можно сказать, отдался всею душою служению русскому государству и, служа, только и думал, как бы побороть ту темную силу, с которой борются

и наше высшее правительство, и лучшая часть нашего общества. Чтоб показать вам наглядно, какими мыслями и чувствами руководился он в своей служебной деятельности, приведу место из его романа “Тысяча душ”. Вот что говорит Писемский о своем герое Калиновиче, назначенном вице-губернатором в одну из тех губерний, где в самом роскошном виде процветали взяточничество, казнокрадство и всевозможные превышения власти:

“Калинович мог действительно быть назван представителем той молодой администрации, которая хотя болезненно, но заметно уже начинает пробиваться то тут, то там сквозь толстую кору подъяческих плутней *Как сознательный юрист молодой вице-губернатор еще на университетских скамейках, по устройству собственного сердца своего, чувствовал всегда большую симпатию к проведению бесстрастной идеи государства, с возможным отпором всех домогательств сословных и частных.* В управлении приняты им были те же основания”.

Взгляд на государство и на службу, приписанный здесь герою романа, есть взгляд самого автора; им руководился он постоянно при исполнении своих служебных обязанностей, и мы смело можем сказать, что он много принес пользы на службе, хотя никогда не занимал видных должностей. Я укажу вам на одну замечательную сторону служебной деятельности Писемского – на его деятельность как следователя по уголовным преступлениям. Тут он изучал каждого преступника, как изучает добрый и старательный врач каждого больного; оставаясь буквально и неумолимо верен закону, он относился к допрашиваемому преступнику с таким участием, с такою любовью, что и тот начинал любить его и рассказывал про себя все потому только, “что уж он больно хороший и умный барин”.

Я сказал здесь о службе Писемского не для того, чтобы хвалить его как чиновника; оценка его служебной деятельности не должна войти в мою речь, имеющую целью указать только на литературные заслуги нашего юбиляра. Но эти заслуги близко связаны со служебной его деятельностью. Вы понимаете, какой огромный материал для своих литературных произведений приобрел автор, служа так усердно интересам русского государства, как глубоко узнал он чиновничий люд, как глубоко проник в душу русского человека”.

В этом смысле есть нечто общее в характере развития талантов Писемского и Салтыкова. Последний, подобно Писемскому, долгое время был погружен в провинциальную жизнь и, принужденный тянуть служебную лямку, точно так же имел возможность близко познакомиться с провинциальной жизнью как в административных ее сферах, так и во всех прочих, с парадных и закулисных ее сторон, и результат был в некоторых отношениях одинаковый. Глазам обоих писателей провинциальная жизнь представилась во всей своей грубой и дикой некультурности; поражали крайняя мелочность интересов и полное отсутствие как общественных принципов, так и самых элементарных нравственных правил. Примите при этом в соображение, что то была предреформенная эпоха сороковых и пятидесятых годов, когда старый патриархальный и крепостной строй жизни был расшатан до последней степени, когда казалось, что все вокруг разваливается, и повсюду господствовал полный разгул взяточничества, казнокрадства, дикого помещичьего произвола и общего безначалия. За деньги все, что угодно, можно было купить, сделать; можно было скрыть любые концы. Жизнь интеллигентных классов имела характер непрерывной дикой и разнузданной оргии;

не предвиделось и конца общему веселью, а между тем экономический кризис был на носу и помещичьи имения начинали уже одно за другим продавать с аукциона. Понятно, что долгие годы созерцания такого внушительного зрелища привели к одному и тому же результату как для Салтыкова, так и для Писемского. У обоих этих писателей отпала всякая охота не только к малейшей идеализации русской жизни, но и к вполне реальному изображению светлых и положительных сторон ее. У обоих писателей в равной степени вы не найдете и следа каких бы то ни было поэтических образов, которые в таком обилии встречаются у других писателей сороковых годов, например у Тургенева, Гончарова, Григоровича, Л. Толстого, Некрасова, Островского и пр.: ни восхитительных пейзажей, ни очаровательных женщин, ни волшебных свиданий в ночной тиши. Если встречается в произведениях обоих этих писателей любовь, то или в комическом и пошлом виде, или в низменно-грязном, у обоих провинциальная среда оказывается состоявшей исключительно из безобразных чудовищ и уродов, поражающих вас своей культурной грубостью, отсутствием самых элементарных понятий о совести и чести и разнузданным цинизмом. Но на этом и кончается, конечно, сходство Писемского с Салтыковым, а затем начинается полная противоположность. В продолжение своей петербургской жизни, между лицеем и ссылкой, Салтыков вращался в самых передовых кружках петербургского общества. И в этот период он не только близко познакомился с теми общественными идеалами, которыми в то время жила Европа, но и глубоко запечатлел их в своей восприимчивой и чуткой душе. Идеалы эти сделались святыней его на всю жизнь, и не в состоянии были исторгнуть их из его души ни долгие годы изгнания, ни служебная деятельность среди малокультурных людей. Идеалы эти явились обратной стороной всех обличений Салтыкова. Читая произведения его, вы видите перед собою отнюдь не озлобленного пессимиста, который, рисуя картину жизни безнадежно мрачными красками, предлагает вам думать, что таков нормальный и общий порядок и что всегда и везде так было, есть и будет; напротив, перед вами горячий идеалист, который смеется над окружающими его безобразиями как над чем-то крайне ненормальным, преходящим и верит в возможность иного, лучшего устройства жизни, разумного и справедливого.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.